

ЧАК ПАЛАНИК



18+

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

РОМАН

Чак Паланик
Колыбельная

«АСТ»

2002

Паланик Ч.

Колыбельная / Ч. Паланик — «АСТ», 2002

ISBN 5-17-026356-2

Это – Чак Паланик, какого вы не то что не знаете – но не можете даже вообразить. Вы полагаете, что ничего стильнее и болезненнее «Бойцовского клуба» написать невозможно? Тогда просто прочитайте «Колыбельную»! ...СВСМ. Синдром внезапной смерти младенцев. Каждый год семь тысяч детишек грудного возраста умирают без всякой видимой причины – просто засыпают и больше не просыпаются... Синдром «смерти в колыбельке»? Или – СМЕРТЬ ПОД «КОЛЫБЕЛЬНУЮ»? Под колыбельную, которую, как говорят, «в некоторых древних культурах пели детям во время голода и засухи. Или когда племя так разрасталось, что уже не могло прокормиться на своей земле». Под колыбельную, которую пели изувеченным в битве и смертельно больным – всем, кому лучше было бы умереть. Тихо. Без боли. Без мучений... Это – «Колыбельная».

ISBN 5-17-026356-2

© Паланик Ч., 2002

© АСТ, 2002

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Пролог | 6 |
| Глава первая | 10 |
| Глава вторая | 12 |
| Глава третья | 14 |
| Глава четвертая | 18 |
| Глава пятая | 21 |
| Глава шестая | 25 |
| Глава седьмая | 28 |
| Глава восьмая | 32 |
| Глава девятая | 35 |
| Глава десятая | 39 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 41 |

Чак Паланик

Колыбельная

Печатается с разрешения автора и литературных агентств Donadio & Olson, Inc. и Andrew Nurnberg.; © Chuck Palahniuk, 2002

© Перевод. Т. Ю. Покидаева, 2002

© ООО Издательство «АСТ МОСКВА», 2009

Палки и камни могут и покалечить, а слова по лбу не бьют.

Посвящение следует

Пролог

Поначалу новые хозяева делают вид, что не смотрят на пол в гостиной. То есть особенно не приглядываются. Не тогда, когда смотрят дом в первый раз. И не тогда, когда перевозят вещи. Они измеряют комнаты, распорядятся, куда ставить диваны и пианино, распаковывают коробки, и во всей этой суете у них не находится времени, чтобы посмотреть на пол в гостиной. Они делают вид.

А потом, в первое утро на новом месте, они спускаются вниз, и вот оно, нацарапано на дубовом паркете:

УБИРАЙТЕСЬ

Одни хозяева делают вид, что это шутка кого-нибудь из приятелей. Другие уверены, что это все потому, что они не приплатили носильщикам.

А еще через пару ночей начинается детский плач – из северной стены хозяйской спальни. Обычно тогда они и звонят.

Очередной новый хозяин на телефоне – это вовсе не то, что нужно нашей героине, Элен Гувер Бойль, в это конкретное утро.

Все эти заикания и рыдания в трубку.

А что ей нужно, так это еще одна чашка кофе и домашняя птица из семи букв. Ей нужно прослушать радиосканер, пеленгующий полицейскую частоту, чтобы быть в курсе событий. Элен Бойль щелкает пальцами, пока в дверях не появляется секретарша. Наша героиня прикрывает телефонную трубку обеими руками и кивает на радиосканер:

– Там код девять-одиннадцать.

Секретарша, ее зовут Мона, пожимает плечами и говорит:

– И чего?

Она проверяет по справочнику и говорит:

– Расслабься. Это кража в магазине.

Убийства, самоубийства, серийные убийства, случайные передозировки – нельзя дожидаться, пока сообщения об этом появятся на первых полосах газет. Нельзя, чтобы какой-то другой посредник обставил тебя в гонке за очередным перспективным клиентом.

Элен нужно, чтобы новый хозяин дома № 325 на Крествуд-террас заткнулся хотя бы на полминуты.

Разумеется, неизменное УБИРАЙТЕСЬ образовалось на полу в гостиной. Странно другое: как правило, детский плач начинается только на третью ночь. Сначала – призрачное послание, потом – детский плач на всю ночь. Если хозяевам хватит смелости продержаться неделю, они обязательно позвонят на восьмой день – насчет лица, которое отражается в ванной, когда в нее набирают воду. Одутловатое сморщенное лицо с черными провалами вместо глаз.

В начале третьей недели появляются призрачные тени, которые медленно кружат по стенам столовой, когда семья собирается за столом. Наверное, это еще не конец, но никто пока не выдерживал больше трех недель.

Элен Гувер Бойль говорит в трубку:

– А вы уверены, что сумеете доказать на суде, что этот дом непригоден для жизни, вы уверены, что сумеете доказать, что предыдущие хозяева знали, что там происходит... – Она говорит: – Я вам скажу. – Она говорит: – Вы проиграете дело, о доме пойдет дурная слава... кстати, вашими же стараниями... и вы его не продадите даже за полцены.

Это неплохой дом, № 325 на Крествуд-террас: в стиле эпохи английских Тюдоров, новая крыша из современных материалов, четыре спальни, три ванны, еще один дополнительный туалет. При доме – бассейн. Нашей героине даже не нужно смотреть каталог. Этот дом она продавала шесть раз за последние два года.

Еще один дом, на Этон-корт, типичный для Новой Англии домик, двухэтажный с фасада и одноэтажный с тыла, шесть спален, четыре ванны, лестничная площадка обшита панелями из сосны, и кровь растекается по стенам кухни. Этот дом она продавала восемь раз за последние четыре года.

Новому хозяину она говорит:

– Подождите минутку на линии, – и жмет красную кнопку.

Сегодня Элен во всем белом: белый костюм и туфли. Только это не ослепительно снежно-белый, а белый, как трасса для горнолыжного спуска на канадском курорте Банфф, с личной машиной, с наемным шофером, четырнадцатью стильными чемоданами, подобранными друг к другу, и номером в отеле «Лейк-Луис».

Повернувшись к двери, наша героиня говорит:

– Мона? Лунный луч? – И чуть громче: – Бесплотная дева?

Она стучит ручкой по сложенной вчетверо газете у себя на столе и говорит:

– Не знаешь: грызун из пяти букв, но не крыса?

Радиосканер булькает и издает слова, всхрюки и треск, повторяя: «Как понял?» – через каждую фразу. Повторяя: «Как понял?»

Элен Бойль кричит:

– Это разве кофе?!

Через час она едет встречаться с клиентом – показывать дом. Особняк в стиле эпохи королевы Анны, пять спален, отдельный вход в гостевое крыло, два газовых камина и лицо самоубийцы, обожравшегося барбитурата, которое появляется поздно ночью в зеркале в дамской комнате. Потом – одноэтажный «фермерский» дом с паровым отоплением, большим подвалом и периодически повторяющимся грохотом призрачных выстрелов – отголосков двойного убийства десятилетней давности. Все это записано у нее в ежедневнике – толстой тетради в переплете из материала, похожего на красную кожу. У нее там записано все.

Она отпивает еще глоток кофе и говорит:

– Как он называется? Швейцарский армейский мокко? Кофе должен быть по вкусу похож на кофе или я чего-то не понимаю?

Мона встает в дверях, сложив руки на животе, и говорит:

– Чего?

И Элен говорит:

– Я хочу, чтобы ты съездила и проверила... – она листает каталог у себя на столе, – ...ага, № 4673, Уиллмонт-плейс. Особняк в голландском колониальном стиле, солярий, четыре спальни, две ванны и убийство при отягчающих обстоятельствах.

Радиосканер трещит:

– Как понял?

– Все как обычно, – говорит Элен, пишет адрес на карточке и передает карточку Моне. – Ничего там не трогай в астральном смысле. Не надо жечь листья полыни и изгонять бесов.

Мона берет карточку с адресом и говорит:

– Просто проверить дом на наличие вибраций?

Элен рубит воздух ладонью и говорит:

– Я не хочу, чтобы духи срывались к какому-то яркому свету по тоннелям в тонкой материи. Я хочу, чтобы они оставались на этом астральном срезе, у меня на них свои планы. – Она опускает глаза на газету, разложенную на столе, и говорит: – У них впереди целая вечность, у мертвецов. С них не будет еще лет пятьдесят побродить по дому и погреть цепями.

Новый хозяин дома № 325 на Крествуд-террас все еще ждет на линии. Элен Гувер Бойль смотрит на мигающий огонек на телефоне и говорит:

– Что-нибудь вчера обнаружилось в том испанском особняке на шесть спален?

Мона возводит глаза к потолку. Закусывает верхнюю губу и тяжело вздыхает. Потом косится на прядь волос у себя на лбу и говорит:

– Там определенно присутствуют токи тонкой энергии. Потусторонние силы есть, но они очень слабые. Но зато нижний план замечательный. – Черный шелковый шнур обвивается вокруг ее шеи и исчезает в уголке рта.

И наша героиня говорит:

– Нижний план идет лесом.

Ей не нужны замечательные дома, которые продаются раз в пятьдесят лет. «Дом, милый дом» идет лесом. Вместе со слабыми проявлениями тонкой энергии: холодными областями, непонятными испарениями, беспокойством домашних животных. Что ей нужно, так это кровь, растекающаяся по стенам. Ей нужны ледяные невидимые руки, которые по ночам стаскивают малышей с кроватей. Ей нужны горящие красным глаза у подножия лестницы в подвал. И подходящая атмосфера гнетущей таинственности.

Дом с верандой, № 521 на Эльм-стрит: четыре спальни, оригинальные решетчатые ворота и вопли на чердаке.

Особняк в нормандском стиле, № 7645 на Вестон-хейтс: арочные окна, буфетная комната, двери с витражными стеклами и призрак с многочисленными ножевыми ранениями в коридоре на втором этаже.

Дом в деревенском стиле, № 248 на Леви-плейс: пять спален, четыре ванны, один дополнительный туалет, кирпичный патио и периодически проявляющиеся кровоподтеки на стенах хозяйской ванной, отголосок убийства водопроводчика посредством отравления.

Риэлторы называют такие дома несчастливыми. Эти дома либо вообще никогда не продаются, потому что никто не любит показывать их клиентам и никто из риэлторов не рискует заходить туда в одиночку, либо, наоборот, продаются и продаются – раз примерно в полгода, – потому что в них невозможно жить. Еще штук двадцать – тридцать таких домов с эксклюзивным правом на продажу, и Элен можно будет расслабиться. Отключить радиосканер. Закончить читать некрологи и полицейскую хронику на предмет убийств и самоубийств. Прекратить гонять Мону – проверять все вероятные варианты, которые могут дать ключ к разгадке. Ей можно будет расслабиться и подумать над породой лошадей из пяти букв.

– И еще я тебя попрошу, забери мои вещи из химчистки, – говорит она. – И сделай нормальный кофе. – Она наводит на Мону ручку и говорит: – И я тебя очень прошу, сними ты эту свою растаманскую хренотень. Мы же все-таки серьезная фирма.

Мона тянет за черный шелковый шнур и достает изо рта кристалл кварца, блестящий и мокрый. Дует на него и говорит:

– Это кристалл. Мне его Устрица подарил, мой бойфренд.

И Элен говорит:

– Ты встречаешься с парнем по имени Устрица?

Мона роняет кристалл на грудь и говорит:

– Он говорит, это мне для защиты.

На ее оранжевой блузке остается темное влажное пятно.

– Да, и пока ты не ушла, – говорит Элен, – соедини меня по телефону с Биллом или Эмили Барроуз.

Она нажимает на кнопку ожидания на линии и говорит:

– Прошу прощения. – Она говорит, что есть несколько вариантов. Например, новый хозяин подписывает документ о формальном отказе от права собственности и спокойно съезжает, а с домом уже разбирается банк. – Или, – говорит наша героиня, – вы мне выписыва-

ете доверенность на эксклюзивное право продажи дома. Это у нас называется «карманный листинг».

Может быть, новый хозяин сейчас скажет: *нет*. Но когда он пойдет принять ванну и в воде у него между ног возникнет эта кошмарная рожа, когда по стенам забегают странные тени, он скажет: *да*. Еще не было случая, чтобы кто-то не согласился.

Новый хозяин на том конце линии говорит:

– И вы ничего не расскажете покупателям... о проблеме?

И Элен говорит:

– Вы не распаковывайте, что осталось. Мы скажем, что вы уже выезжаете. Если кто-нибудь спросит, скажите, что вам предложили работу в другом городе. Скажите, что вам очень нравится этот дом и вам жалко его продавать.

Она говорит:

– А все остальное останется нашей маленькой тайной.

Мона кричит из приемной:

– Билл Барроуз на второй линии.

Радиосканер трещит:

– Как понял?

Наша героиня нажимает на кнопку и говорит в трубку:

– Билл!

Глядя на Мону, она произносит одними губами:

– Кофе.

Она кивает на окно и так же беззвучно, одними губами, говорит Моне:

– Иди.

Радиосканер трещит:

– Как понял?

Это *была* Элен Гувер Бойль. Наша героиня. Теперь мертвая, но не покойная. Это был просто еще один день в ее жизни. Это была ее жизнь до того, как появился я. Может быть, это история о любви. Может быть, нет. Поживем – увидим. Потому что я сам не уверен, насколько мне можно себе доверять.

Это история об Элен Гувер Бойль. О том, как она не дает мне покоя. Как навязчивая мелодия, застрявшая в голове. О том, какой, мы себе представляем, должна быть жизнь. О том, что цепляет и не отпускает. О том, как прошлое тянется следом за нами в будущее.

Да, именно так. И все это – Элен Гувер Бойль.

У каждого в жизни есть кто-то, кто никогда тебя не отпустит, и кто-то, кого никогда не отпустишь ты.

В тот день – последний день в обыкновенной, нормальной жизни – наша героиня говорит в трубку:

– Билл Барроуз?

Она говорит:

– Пусть Эмили подойдет к параллельному телефону, у меня хорошая новость. Я нашла замечательный дом, вам понравится.

Она пишет РЫСАК по горизонтали и говорит:

– Насколько я понимаю, хозяин очень заинтересован, чтобы продать дом побыстрее.

Глава первая

Трудность любого рассказа: он всегда получается задним числом.

Даже «живой» комментарий на радио – круговые пробежки и страйк-ауты – все равно отстает от реальных событий на пару минут. Даже прямые трансляции по телевидению идут с задержкой на две-три секунды.

Даже у звука и света есть ограничения в скорости.

*Еще одна трудность – рассказчик. Кто, что, где, когда и почему. Его личный настрой и пристрастия. Как он передает факты. Какой из него **посредник**, как это называется у журналистов. Как он умеет подать материал, поскольку правильно поданный материал – это все.*

Рассказ в рассказе.

Эту историю я рассказываю кусками – каждый раз в новом кафе. Я пишу эту книгу по главам, главу за главой – каждый раз в новом месте, в новом городе, или в маленькой деревушке, или просто на съезде с шоссе где-нибудь в чистом поле.

Эти места объединяет одно – чудеса. Чудеса типа тех, о которых обычно пишут в бульварных изданиях, все эти чудесные исцеления и видения, о которых не упоминают в серьезной прессе.

На этой неделе мы имеем Святую Деву Уэлбурнскую, соответственно в Уэлбурне, штат Нью-Мексико. На прошлой неделе она спустилась с небес и пролетела над главной улицей этого самого Уэлбурна. Ее двухцветные, черные с рыжим, короткие дреды развевались по ветру, у нее были грязные ноги, а одежда она была в длинную хлопчатобумажную юбку в индейском стиле, светлых и темных оттенков коричневого, и джинсовую маечку на бретельках. Читайте последний номер еженедельника «Чудеса со всего света»; у каждой кассы в любом супермаркете в Америке. Там все подробно описано.

И вот я здесь, с опозданием на неделю. Всегда отставая на шаг. Задним числом.

Ногти у Летучей Девы были ядовито-розовыми, с яркими белыми кончиками. Французский маникюр, как это называли некоторые очевидцы. При ней был аэрозольный баллончик от тараканов и прочих вредных насекомых, марки «Жуков нам не надо», и на ясном нью-мексиканском небе она написала:

ПЕРЕСТАНЬТЕ РОЖАТЬ ДЕТЕЙ

(sic)

Баллончик «Жуков нам не надо» она уронила. Сейчас он уже на пути в Ватикан. На предмет экспертизы. На месте события уже продают открытки. И даже видео.

Почти все, что уже есть в продаже, сделано задним числом. Поймано. Умерщвлено. И сварено.

На сувенирных видеокассетах Летучая Дева трясет в руках аэрозольный баллончик. Пролетая над Главной улицей, машет рукой толпе. Видно, что подмышки она не бреет. За пару секунд до того, как она начинает писать на небе, ветер задирает ей юбку, и все узнают, что Летучая Дева не носит трусиков. Между ног у нее гладко выбрито.

Я пишу этот кусок прямо здесь, в придорожной кафешке. Пишу, параллельно беседуя с очевидцами чуда в Уэлбурне, штат Нью-Мексико. Сержант тоже здесь, со мной. Стреляный

воробей, ядреный ирландский коп. На столе между нами – местная газета, сложенная вверх страницей с объявлением шириной в три колонки:

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ МЕБЕЛЬНОГО МАГАЗИНА «МЯГКОЕ МЕСТО»

В объявлении сказано: «Если у вас в мягкой мебели завелись ядовитые пауки, у вас есть возможность объединиться с другими такими же пострадавшими и подать коллективный иск в суд». В объявлении дан телефон, по которому нужно звонить, но звонить бесполезно.

Кожа на шее Сержанта какая-то странная: если его уципнуть, а потом убрать пальцы, то кожа так и останется зацементированной. Ему нужно идти искать зеркало и специально разглаживать кожу в том месте, где его уципнули.

На шоссе за окном кафешки полно машин – люди все еще едут в город. Они преклоняют колени и молятся о новом явлении Пречистой Девы. Сержант сложил вместе ладони в огромных перчатках и делает вид, что молится. При этом он искоса смотрит в окно, его кобура растянута, пистолет заряжен и готов к разминочной стрельбе по тарелочкам.

Закончив расписывать небо, Летучая Дева послала толпе воздушный поцелуй. Изобразила пальцами знак мира. Проплыла в воздухе у самых верхушек деревьев, придерживая юбку одной рукой, трянула своими черно-рыжими дредами, помахала рукой на прощание и – аминь. Улетела за горы, за горизонт. Улетела совсем.

И все же: не стоит верить всему, что пишут в газетах.

Летучая Мадонна – это было не чудо.

Это было колдовство.

Это не чудеса святых. Это темные чары.

И мы с Сержантом здесь не для того, чтобы дивиться на чудо чудное. У нас с ним охота – на ведьм.

И все же: эта история не про здесь и сейчас. Я, Сержант и Летучая Дева. Элен Гувер Бойль. Это история о нас; как мы все встретились. И что нас сюда привело.

Глава вторая

Тебе задают только один вопрос. Перед тем как ты получаешь диплом журналиста, тебе предлагают такое задание: представь, что ты репортер. Работаешь в ежедневной газете в каком-нибудь большом городе, и вот, в канун Рождества, редактор тебе говорит, что нужно сделать заметку. Несчастный случай со смертельным исходом.

Ты приезжаешь на место. Полицейские и врачи уже там. Соседи в домашних халатах и тапках толпятся у двери в квартиру, в мрачном многоквартирном доме трущобного типа. В квартире, под новогодней елкой, рыдают молодые родители. Их малыш подавился елочной игрушкой, задохнулся и умер. Ты записываешь все детали, имя ребенка, возраст и все такое и мчишься обратно в редакцию – время близится к полуночи, – чтобы успеть написать экстренную заметку в утренний выпуск.

Ты приносишь заметку редактору, и он говорит, что статья не пойдет, потому что ты не указал, какого цвета была игрушка. Красная или зеленая? Посмотреть было нельзя, а спросить ты как-то не подумал.

Статья прямо просится на первую полосу, и у тебя есть выбор.

Позвонить родителям и спросить.

Или же не звонить и потерять работу.

Это пресса. «Четвертая власть». Когда я учился на журналиста, на выпускном экзамене по этике нам задавали только этот вопрос. Вопрос или – или. Я ответил, что позвоню в полицию. Такие вещи должны быть записаны в протоколе. Игрушку должны запечатать в полиэтиленовый пакет и сфотографировать как вещественное доказательство. Ни в коем случае я не стал бы звонить родителям после полуночи в канун Рождества.

По этике я получил D, низкий, но переходный балл.

Вместо этики я научился говорить людям только то, что им хочется услышать. Я научился письменно излагать факты. И еще я усвоил, что редакторы могут быть настоящими сволочами.

Я до сих пор не могу понять, для чего было это задание. Теперь я репортер, в ежедневной газете в большом городе, и мне не нужно ничего представлять.

Мой первый реальный ребенок был в сентябре, в понедельник утром. Не было никаких елочных украшений. Никто из соседей не толпился вокруг жилого трейлера в пригородной зоне. Один полицейский врач сидел с родителями на кухне и задавал им стандартные вопросы. Второй полицейский врач отвел меня в детскую и показал кроватку и все, что обычно в кроватке бывает.

Стандартная процедура включает следующие вопросы: «Кто обнаружил ребенка мертвым?», «Когда его обнаружили мертвым?», «Перемещали ли тело после того, как его обнаружили мертвым?», «Когда ребенка в последний раз видели живым?», «Ребенок был на грудном или на искусственном вскармливании?» Вопросы кажутся беспорядочными, но врачам ничего другого не остается, как только копить данные для статистики и надеяться, что когда-нибудь они сложатся в систему.

Детская была выдержана в желто-синих тонах. Занавески в цветочек на окнах, белый плетеный комод с выдвижными ящиками – рядом с кроваткой. Белое кресло-качалка. Над кроваткой висела игрушка-мобил из желтых пластмассовых бабочек. На плетеном комод лежала книжка, открытая на странице 27. Синий ковер на полу. Вышивка в рамочке на стене: «Рожденный в четверг – далеко пойдет». В комнате пахло детской присыпкой.

Может быть, я не усвоил этику, но зато я научился замечать детали. Несущественных деталей не бывает. Любая деталь достойна внимания.

Книжка, лежавшая на комод, называлась «*Стихи и потешки со всего света*». Книга была библиотечная.

Мой редактор планировал серию из пяти репортажей СВСМ, синдром внезапной смерти младенцев. Каждый год семь тысяч детишек грудного возраста умирают безо всякой видимой причины. Двое из каждой тысячи грудничков просто засыпают и больше не просыпаются. Мой редактор Дункан называет этот синдром «Смерть в колыбельке».

Подробности о Дункане: он весь в прыщах и угрях, и раз в две недели кожа у него на черепашке приобретает насыщенный коричневый цвет вдоль линии роста волос, когда он закрашивает седину на корнях. Пароль у него на компьютере – «пароль».

Все, что мы знаем про синдром внезапной смерти младенцев, – что в этом явлении нет никакой системы. Большинство малышей умирают у себя в кроватках между полуночью и ранним утром, но ребенок может умереть и когда спит в постели с родителями. Или в машине, или в коляске. Ребенок может умереть у матери на руках.

Во многих семьях есть дети, сказал мой редактор. Эта такая тема, о которой родители-бабушки-дедушки очень боятся читать и не читать тоже боятся. На самом деле ничего нового мы не напишем. Идея в том, чтобы дать краткий очерк пяти семей, потерявших ребенка. Показать, как люди справляются со своим горем. Как они продолжают жить дальше. Ничего нового мы не напишем, что касается фактической стороны смерти в колыбельке; но мы можем вдавить по эмоциям. Показать, сколько участия и душевных сил открыли в себе эти люди. Под таким вот углом. Подобные репортажи, без привязки к каким-то громким событиям, мы называем «тихими новостями». Они пойдут центральной темой в раздел «Стиль жизни».

В качестве иллюстрации можно дать фотографии улыбающихся здоровых детишек, которые теперь мертвы.

Мы покажем, что это может случиться с каждым.

Вот такая была у него задумка. Обычно подобного рода исследования делаются «по заказу редакции». Был конец лета, с новостями было туговато. Это был тот период, на который приходится ежегодный пик рождаемости.

Идея редактора заключалась в том, чтобы я скооперировался с врачами, которые производят медицинскую экспертизу в случае беспричинной смерти грудных детишек.

Рождественская история, рыдающие родители, елочная игрушка – я уже столько лет работаю репортером, что давно позабыл эту байду.

Гипотетическая ситуация на выпускном по этике. Этот вопрос задают в конце курса по журналистике именно потому, что тогда уже поздно его задавать. Ты уже заплатил за обучение. Только годы спустя я понял, что нас спрашивали о другом: *Ты уверен, что это действительно именно то, чем тебе хочется заниматься в жизни?*

Глава третья

Приглушенный гул диалога проходит даже сквозь стены, потом – взрыв смеха. Потом – опять диалог. Большинство треков со смехом на телевидении было записано в начале пятидесятых. То есть почти все люди, смех которых ты слышишь, сейчас мертвы.

Бум, бум и бум сверху. Как бой барабана. От музыки сотрясается потолок. Ритм изменяется. Удары становятся чаще, как будто сходятся вместе, удары становятся реже, как будто расходятся в стороны, но они не прекращаются.

Внизу кто-то поет. То есть даже не поет, а выкрикивает слова песни. Все эти люди, которым необходимо, чтобы у них постоянно орал телевизор. Или радио, или проигрыватель. Все эти люди, которых пугает тишина. Это мои соседи. Звуко-голики. Тишина-фобы.

Смех мертвых проходит сквозь стены.

Это то, что сейчас называется «дом, милый дом».

Звуковая осада.

После работы я заглянул в магазин. Когда я вошел, продавец встрепенулся. Не сводя с меня глаз, он пошарил рукой под прилавком с кассой и достал сверток из плотной коричневой бумаги.

– Я положил в два пакета. Думаю, вам понравится.

Он положил сверток на прилавок и любовно погладил его рукой.

Сверток размером в половину обувной коробки. Весит меньше, чем банка с консервированным тунцом.

Он нажимает одну, вторую, третью кнопку на кассе. В окошке высвечивается цена. Сто сорок девять долларов. Он говорит:

– Чтобы вы не волновались, я замотал оба пакета скотчем.

На случай, если вдруг будет дождь, он убирает сверток в пластиковый пакет и говорит:

– Если чего-то вдруг не хватает, вы мне скажите. – Он говорит: – А вы все так и хромаете.

Не проходит нога?

Всю дорогу домой пакет шуршал у меня в руках. Бумага скользила и морщилась. Я шел прихрамывая, и с каждым шагом содержимое свертка перекачивалось в коробке.

У меня дома: потолок дрожит от громкой ритмичной музыки. Стены вибрируют от взвинченных голосов. То ли исполнилось древнеегипетское проклятие и какая-то мумия ожила и теперь убивает соседей, то ли они смотрят фильм.

Внизу кто-то орет благим матом, лает собака, хлопают двери, опять же, грохочет музыка.

Я иду в ванную, но не включаю свет. Чтобы не видеть, что в свертке. Чтобы не знать, что это. В тесной густой темноте я затыкаю полотенцем щель под дверью. Держа сверток на коленях, я сижу на унитазе и слушаю.

Это то, что сейчас называется цивилизацией.

Люди, которые никогда не выбросят мусора из машины, врубают радио на полную мощность. Люди, которые в переполненном ресторане никогда не выдохнут сигаретный дым тебе в лицо, истошно орут в свои мобильные телефоны. Они кричат, как в лесу, разговаривая друг с другом через столик в кафе.

Люди, которые никогда не разбрызгают гербициды и инсектициды, почему-то считают вполне допустимым поганить окрестности громкой музыкой. Шотландские волынки. Китайская опера. Кантри и фолк.

Когда за окном поют птицы, это нормально. Когда Патси Клайн – уже нет.

Шум машин за окном – это уже неприятно. И от концерта в ре-миноре для фортепьяно Шопена легче не станет.

Ты делаешь музыку громче, чтобы заглушить шум. Соседи делают музыку громче, чтобы заглушить твою музыку. Ты опять делаешь музыку громче. Все покупают стереосистемы, стараясь выбрать, которая помощнее. Это гонка вооружения в войне звука. Но утроенная мощность не приносит тебе победы.

Речь не о качестве звука. Речь о громкости.

Речь не о музыке. Речь о победе.

Ты включаешься в состязание, врубая басы. От твоей музыки дрожат стекла. Тебя не волнует мелодия, ты выкрикиваешь слова. Ты используешь ненормативную лексику и повышаешь голос на каждом матерном слове.

Ты берешь верх. На самом деле речь о том, кто сильнее.

В темной ванной, сидя на унитазе, я отдираю ногтями скотч с одного конца свертка. Внутри – картонная коробка, квадратная, гладкая, мягкая, с истертыми краями. Уголки тоже стерты и продавлены внутрь. Я поднимаю крышку, и то, что внутри, оказывается на ощупь набором острых и твердых деталей замысловатой формы. Крошечные уголки, изгибы и зазубренные края. Я выкладываю содержимое на пол, в темноте. Пустую коробку я убираю обратно в бумажные пакеты. Между слоями твердых деталей – листы тонкой мягкой бумаги. Я убираю в пакеты и эту бумагу тоже. Потом сминаю пакеты вместе с картонной коробкой в плотный шуршащий шар.

Все это я делают в темноте. Вслепую. Прикасаюсь к гладкой бумаге, перебираю слои твердых деталей с разными вогнутостями и выпуклостями.

Пол у меня под ногами и даже сиденье унитаза слегка подрагивают от соседской музыки.

Хочется посоветовать всем родителям, кто потерял маленького ребенка: придумайте себе хобби. Удивительно, как быстро ты учишься отгораживаться от прошлого, когда тебе есть чем занять руки и голову. Пережить можно все – даже самую страшную боль. Только тебе нужно что-то, что будет тебя отвлекать. Попробуйте вышивать. Или мастерить абажуры из цветного стекла.

Я сгребаю детали и отношу их в кухню. При свете они голубые, синие, серые и белые. Хрупкая твердая пластмасса. Крошечные кусочки. Кровельная дранка, ставни на окна, панели для стен. Крошечные ступеньки, колонны и оконные рамы. Пока не понятно, что это: жилой дом или больница. Крошечные кирпичные стены и двери. Разложенные на кухонном столе, это могут быть детали для школы или для церкви. Без коробки с картинкой, без инструкции по сборке эти крошечные водосточные трубы и мансардные окна могут быть материалом для железнодорожной станции или для психбольницы. Для фабрики или для тюрьмы.

Не важно, как их собрать – ты все равно не узнаешь, правильно или нет.

Крошечные детали, трубы и купола, они легонько подрагивают при каждом ударе звука, что идет от соседей снизу.

Эти музыка-голики. Эти тишина-фобы.

Никто не хочет признать, что мы подсели на музыку, как на наркотик. Так не бывает. Никто не подсаживается на музыку, на телевизор и радио. Просто нам нужно больше: больше каналов, шире экран, громче звук. Мы не можем без музыки и телевизора, но нет – никто на них не подсел.

Мы можем выключить музыку и телевизор, когда захотим.

Я вставляю оконную раму в кирпичную стену. Малюсенькой кисточкой, как от лака для ногтей, я приклеиваю ее на место. Окно размером с ноготок. Клей пахнет, как лак для волос. Запах похож на смесь апельсина с бензином.

Узор из кирпичиков на стене – мелкий, как отпечатки пальцев.

Второе окошко встает на место, и я окунаю кисточку в клей.

Звук сотрясает стены, проходит вибрацией по столу, по оконной раме – мне в палец.

Они отвлекают внимание. Они боятся сосредоточиться.

Джордж Оруэлл ошибался.

Большой Брат не следит за тобой. Большой Брат поет и пляшет. Достает белых кроликов из волшебной шляпы. Все время, пока ты не спишь, Большой Брат развлекает тебя, отвлекая внимание. Он делает все, чтобы не дать тебе время задуматься. Он делает все, чтобы тебя занять.

Он делает все, чтобы твое воображение чахло и отмирало. Пока окончательно не отомрет. Превратится в бесполезный придаток типа аппендикса. Большой Брат следит, чтобы ты не отвлекался на что-то серьезное.

Но лучше бы он следил за тобой, потому что это значительно хуже – когда в тебя столько всего пихают. Когда столько всего происходит вокруг, тебе уже и не хочется думать самостоятельно. Ты уже не представляешь угрозы. Когда воображение атрофируется у всех, никому не захочется переделывать мир.

Я расстегиваю пуговицу на рубашке и запихиваю галстук внутрь, чтобы он не мешался. Крепко прижав подбородок к груди, я подцепляю пинцетом крошечные оконные стекла и вставляю их в рамы. Опасной бритвой я обрезаю пластмассовые занавески до размеров меньше почтовой марки. Синие занавески – на второй этаж, желтые занавески – на первый. Кое-где занавески раздвинуты, кое-где плотно задернуты. Я приклеиваю их на место.

В мире есть вещи страшнее, чем пережить смерть жены и ребенка.

Например, наблюдать, как тот же мир отбирает их у тебя. Наблюдать, как стареет жена. Как ей становится скучно жить. Как твои дети потихонечку узнают все, от чего ты пытался их оградить. Наркотики, развод, общепринятые нормы, болезни. Все эти хорошие добрые книжки, музыка, телевизор. Непрестанные развлечения, отвлекающие внимание.

Хочется посоветовать всем родителям, кто потерял маленького ребенка: живите дальше. И вините себя.

Убить тех, кого любишь, это не самое страшное. Есть вещи страшнее. Например, безучастно стоять в сторонке, пока их убивает мир. Просто читать газету. Так чаще всего и бывает.

Смех и музыка разъедают мысли. Шум их заглушает. Всякий звук отвлекает внимание. Не дает сосредоточиться. От клея болит голова.

Все наши мысли – уже чужие. Потому что сосредоточиться невозможно. Просто сесть и спокойно подумать – не получается. Какой-нибудь шум обязательно просочится. Певцы надрываются. Мертвецы смеются. Актеры рыдают в голос. Все эти эмоции малыми дозами.

Кто-нибудь обязательно распыляет в воздухе свое настроение.

Магнитолы в машинах расплескивают по округе чье-то горе, чью-то злость или радость.

Особняк в голландском колониальном стиле. Я приклеил пятьдесят шесть окон вверх ногами, и мне пришлось его выкинуть. Замок в стиле Тюдоров на двенадцать спален. Я прикрепил водосточные трубы не там, где нужно, и расплавил пластмассовые фронтоны, пытаюсь растворить клей химическим растворителем.

Все это не ново.

В Древней Греции люди считали, что мысли – это приказы свыше. Если в голову древнего грека приходила какая-то мысль, он был уверен, что ее ниспослали боги. Какой-то конкретный бог или богиня. Аполлон говорил человеку, что нужно быть храбрым. Афина – что нужно влюбиться.

Теперь люди слышат рекламу картофельных чипсов со сметаной и бросаются их покупать; но это теперь называется свободой выбора.

Древние греки по крайней мере не лгали себе.

А правда – она простая. Даже если однажды вечером ты читаешь жене и ребенку вслух. Читаешь им колыбельную. А наутро ты просыпаешься, а твоя семья – нет. Ты лежишь в постели, прижавшись к жене. Она еще теплая, но уже не дышит. Твоя дочка не плачет. Дом уже лихорадит от шума движения за окном, от воплей соседского радио, от горячего пара, заклю-

ченного в трубах внутри стены. Правда в том, что можно забыть даже этот день – забыть на те пару минут, пока ты завязываешь перед зеркалом галстук.

Я это знаю. Это моя жизнь.

Можно переехать, сменить квартиру, но этого мало. Надо, чтобы у тебя было какое-то хобби. Чтоб занять руки и голову. Нужно по уши уйти в работу. Сменить имя. Собрать все воедино – пусть даже топорно и кое-как. Сотворить порядок из хаоса. Каждый раз заново – когда у тебя не болит нога и когда есть деньги. Нужно организовать свою жизнь. До мельчайших деталей.

Это не то, что советуют психотерапевты. Но оно помогает.

Потом ты приклеиваешь к стенам двери. А стены приклеиваешь к фундаменту. Ты собираешь пинцетом крошечные кусочки каждой печной трубы, и пока клей подсыхает, ты делаешь крышу. Навешиваешь водосточные трубы. Все детали аккуратно подогнаны. Ты вставляешь мансардные окна. Крепишь ставни. Оформляешь крыльцо. Засаеваешь лужайку. Сажаешь деревья.

Вдыхаешь запах апельсинов с бензином. Запах лака для волос. Ты полностью сосредоточен на том, что делаешь. Ты обклеиваешь трубу крошечными побегими плюща. Клей тонкой корочкой засыхает на кончиках пальцев. Пальцы липнут друг к другу.

Ты говоришь себе: шум – это то, чем определяется тишина. Без шума мы не ценили бы тишину. Шум – исключение из правил. Думай о безграничном открытом космосе, о пронзительном холоде и тишине, где тебя ждут жена и ребенок. Мне не нужны небеса. Тишина – вот желанная награда.

Берешь пинцет и сажаешь цветы вдоль фундамента.

Вытянув шею, ты наклоняешься над столом. Задница напряжена, позвоночник согнулся дугой. Верхний конец дуги упирается в боль в основании черепа.

Клеишь крошечный коврик на крыльце у передней двери. «Добро пожаловать». Над дверью подвешиваешь фонарик. Рядом с дверью – почтовый ящик. На крыльце расставляешь совсем уже крошечные бутылочки с молоком. Рядом кладешь сложенную газету.

Когда все готово – все идеально, правильно и аккуратно, – уже глубокая ночь. Наверное, три часа ночи, если вообще не четыре утра – потому что вокруг все тихо. Пол, стены и потолок уже не дрожат. Даже мотор в холодильнике не гудит, и поэтому слышно, как жужжат нити накаливания в электрических лампочках. Слышно, как тикают часики на руке. Мотылек бьется в окно с той стороны. Ты видишь пар от своего дыхания – так холодно в кухне.

Ты подключаешь маленькую батарейку и тянешь за рычажок – свет зажигается в крошечных окнах. Ты ставишь домик на пол и выключаешь верхний свет.

Стоишь над домиком в темноте. Отсюда, с такой высоты, он смотрится безукоризненно. Замечательный дом. Надежный и безопасный. Счастливый. Аккуратный кирпичный домик. Свет из крошечных окон озаряет цветы на лужайке. Светятся занавески. Желтые занавески – в детской. Синие – в нашей спальне.

Хороший способ забыть о целом – пристально рассмотреть детали.

Хороший способ отгородиться от боли – сосредоточиться на мелочах.

Вот так и надо смотреть на Бога.

Как будто все хорошо.

Теперь надо снять туфлю и наступить на все это босой ногой. Потом еще раз, и еще, и еще. Не важно, что это больно: ломкая пластмасса с острыми сколами, дерево и стекло. Давить и давить, со всей силы, пока сосед снизу не начинает стучать кулаком в потолок.

Глава четвертая

Мой второй случай смерти в колыбельке – в большом блочном многоквартирном доме на окраине центра. Несчастье случилось под вечер, ребенок умер прямо на детском высоком стульчике в кухне. Когда я приехал, нянька рыдала в спальне. В раковине на кухне была гора грязной посуды.

Когда я возвращаюсь в редакцию, Дункан спрашивает:

– Раковина одинарная или двойная?

Еще одна подробность о Дункане: он плюется, когда разговаривает.

Двойная, говорю я ему. Нержавеющая сталь. Отдельные краны на горячую и холодную воду, ручки кранов фаянсовые. Насадки-рассекателя нет.

И Дункан говорит:

– Марка холодильника?

Крошечные капельки его слюны мерцают в резком электрическом свете.

Я говорю: «Амана».

– Есть у них календарь?

Слюна Дункана брызжет мне на руку и на щеку. Работает кондиционер, и слюна кажется очень холодной.

Есть, говорю я ему. С изображением старой каменной мельницы – такой, которая с водяным колесом. Подарок от страхового агента. В календаре был отмечен день, когда вести малыша в поликлинику. И день защиты диплома по общеобразовательной подготовке у мамы. У меня записаны обе даты и фамилия детского врача.

И Дункан говорит:

– Черт, отлично работаешь.

Его слюна высыхает у меня на коже и на губах.

На полу в кухне был серый линолеум. Розовый кухонный гарнитур, прожженный в некоторых местах сигаретой. На столике рядом с раковиной лежала библиотечная книжка. *«Стихи и потешки со всего света»*.

Книга была закрыта, но когда я ее приоткрыл и дал ей свободно упасть на стол вверх обложкой – в надежде, что книга сама раскроется на странице, до которой ее дочитали, – она раскрылась на странице 27. Я взял карандаш и поставил галочку на полях.

Мой редактор хитро прищуривает один глаз.

– А остатки какой еды, – говорит, – были на грязной посуде в раковине?

Спагетти, говорю я. С томатным соусом. Соус с грибами и чесноком. Я проверил мусорную корзину под раковиной.

Двести миллиграммов соли на порцию. Сто пятьдесят килокалорий. Я сам не знаю, чего ожидал найти. Может быть, что-то, что помогло бы понять причину.

Дункан говорит:

– Видел? – и показывает мне гранки сегодняшнего ресторанного раздела. Объявление бросается в глаза сразу. Шириной в три колонки и высотой в шесть дюймов. Заголовок большими буквами:

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ КЛУБНОГО РЕСТОРАНА

«ТЕМНЫЙ БОР»

В самом объявлении сказано: «Отобедав в указанном ресторане, вы заразились синдромом хронической усталости, не поддающимся никакому лечению? Этот вирус, передающийся через пищу, лишил вас возможности продуктивно работать и жить нормальной жизнью? Если так, то звоните по указанному телефону и объединяйтесь с другими такими же пострадавшими, чтобы подать коллективный иск в суд».

Указанный телефон начинается с какого-то непонятного длинного кода. Наверное, это мобильный номер.

Дункан говорит:

– Как ты считаешь, из этого можно состряпать статью? – И на листе остаются влажные точки его слюны.

У меня библикует пейджер. Это полицейские врачи.

На факультете журналистики нас учили, что репортер должен быть как объектив фотокамеры. Вышколенный, объективный и беспристрастный профессионал. Точный, надежный и наблюдательный.

Нас учили, что то, что ты пишешь, – это всегда отдельно от тебя. Убийцы и репортеры взаимно исключают друг друга. О чем бы ты ни писал, ты пишешь не о *себе*.

Мой третий мертвый ребенок – на ферме в двух часах езды от города.

Четвертый – в кооперативном доме рядом с торговым центром.

Полицейский врач ведет меня в детскую и говорит:

– Наверное, вас зря сюда вызвали. – Его зовут Джон Нэш, и он убирает простыню, которой укрыто тело ребенка. Маленький мальчик – слишком спокойный, слишком белый и совершенный для того, чтобы просто спать. Нэш говорит: – Ему почти шесть.

Подробности о Нэше: это здоровый такой мужик в белом халате. Он носит высокие белые ботинки на толстой подошве, а волосы убирает в хвост, который торчит на макушке, как чахлая пальмочка.

– Нам бы в Голливуде работать, – говорит Нэш. – В такой чистой бескровной смерти нет ни уродства, ни боли, и обратной перистальтики тоже нет – когда в предсмертной агонии пищеварительная система начинает работать наоборот и тебя рвет фекалиями. Когда ты блюешь дерьмом, – поясняет Нэш. – Очень реалистичная сцена смерти.

Он мне рассказывает про смерть в колыбельке. Чаще всего это случается в возрасте от двух до четырех месяцев. Более девяноста процентов всех смертей происходят до полугода. После десяти месяцев – это уже редкое исключение. После года в свидетельстве о смерти ребенка пишут: причина не установлена. Вторая такая же смерть в семье считается убийством, пока не будет доказано обратное.

В квартире в кооперативном доме обои на стенах зеленые. В детской кроватке фланелевое белье с рисунком из скотчтерьерчиков. В квартире пахнет аквариумом с ящерицами.

Когда ребенку к лицу прижимают подушку, судебные медики называют такое убийство «мягким».

Мой пятый мертвый ребенок – в отеле у аэропорта.

Книга была и на ферме, и в кооперативном доме. «Стихи и потешки...» Та же самая библиотечная книга с моей галочкой на полях. В отеле я ее что-то не нахожу. Это номер с двуспальной кроватью. Ребенок лежит, скорчившись на односпальной кровати рядом с крова-

тью, где спали родители. На полке во встроенном шкафу – цветной телевизор, 36-дюймовый «Зенит» с пятьюдесятью шестью кабельными каналами. Плюс четыре канала местного телевидения. Ковер на полу коричневый, занавески – коричневые с голубыми цветами. На полу в ванной – влажное полотенце, испачканное кровью и зеленым гелем для бритья. Кто-то не спустил унитаз.

Покрывала на кроватях темно-синие и прокурены сигаретным дымом.

Книги не видно.

Я спрашиваю офицера, что родители забирали из номера, и он говорит: вроде бы ничего. Но приходил человек из собеса и забрал кое-какую одежду.

– Да, и еще, – говорит офицер, – какие-то библиотечные книжки.

Глава пятая

Передняя дверь открывается, и на пороге стоит женщина. Она держит у уха мобильник. Улыбается мне, но говорит с кем-то другим.

– Мона, – говорит она в трубку, – ты давай там побыстрее. Мистер Стрейтор уже пришел.

Она поднимает свободную руку, демонстрируя мне часы у себя на запястье, и говорит в трубку:

– Он минут на пять раньше. – Ее другая рука с длинными ярко-розовыми ногтями с ослепительно белыми кончиками и маленький черный мобильник у уха почти не видны в искрящемся розовом облаке пышных волос.

Улыбаясь, она говорит:

– Расслабься, Мона, – и комментирует, глядя на меня: – Коричневый спортивный пиджак. Коричневые брюки. Белая рубашка. – Она хмурится и кривит губы. – И синий галстук.

Она говорит в трубку:

– Средних лет. Рост пять футов и десять дюймов, вес... фунтов сто семьдесят. Белый. Шатен, зеленые. – Она слегка морщится в мою сторону. – Прическа малость в беспорядке, и он сегодня не брился, но в целом вид у него безобидный.

Она слегка подается вперед и произносит одними губами: *моя секретарша*.

В трубку она говорит:

– Чего?

Она отступает в сторону и машет мне свободной рукой, чтобы я заходил. Она поднимает голову, ловит мой взгляд и говорит:

– Спасибо, Мона, за заботу, но я не думаю, что мистер Стрейтор будет меня насиловать.

Мы в особняке Гартоллера на Уолкер-Ридж-драйв. Дом в старинном английском стиле. Восемь спален, семь ванных, четыре камина, большая столовая для приемов, малая столовая, бальный зал площадью в полторы тысячи квадратных футов на четвертом этаже. Отдельный гараж на шесть автомобилей и гостевой домик в саду. Открытый бассейн. Пожарная сигнализация и охранная система.

Уолкер-Ридж-драйв расположен в районе, где мусор вывозят пять раз в неделю. Здесь живут люди, которые понимают опасность хорошей судебной тяжбы, и когда ты приходишь и называешь себя, они улыбаются и соглашаются.

Особняк Гартоллера очень красивый.

Эти люди не пригласят тебя в дом. Они будут стоять в дверях и улыбаться. А если ты спросишь, они тебе скажут, что не знают истории этого дома. Это просто дом.

Если ты будешь настаивать, они поглядят на пустынную улицу поверх твоего плеча, опять улыбнутся и скажут: «Ничем не могу вам помочь. Позвоните риэлтору».

На доме № 3465 по Уолкер-Ридж-роуд висит скромная табличка: «Бойль. Продажа недвижимости». Прием только по предварительной записи.

Еще в одном доме мне открывает женщина в форменном платье горничной. Девочка лет шести робко выглядывает из-за ее черной юбки. Горничная качает головой и говорит, что вообще ничего не знает.

– Позвоните риэлтору, – сказала она. – Элен Бойль. Там есть телефон.

А девочка сказала:

– Она злая колдунья.

И горничная закрыла дверь.

И вот теперь, в особняке Гартоллера, Элен Гувер Бойль проходит по гулким пустым белым комнатам. Она все еще говорит по мобильному. Облако пышных розовых волос, розовый костюм в обтяжку, белые чулки, розовые туфли на среднем каблуке. Густая ярко-розо-

вая помада. Искрящиеся золотые и розовые браслеты позвякивают на руках: золотые цепочки, монетки и амулеты.

Хватит, чтобы украсить немаленькую новогоднюю елку.

Крупный жемчуг. Таким подавился бы даже конь.

В трубку она говорит:

– Ты не звонила новым хозяевам Эксетер-Хауз? Они должны были в ужасе съехать оттуда еще две недели назад.

Сквозь высокие двойные двери она проходит в другую комнату и в другую за ней.

– То есть, – говорит она в трубку, – что ты имеешь в виду: они там не живут?

Высокие арочные окна выходят на каменную террасу. За террасой – постриженная поло-сами лужайка. За лужайкой – бассейн.

В трубку она говорит:

– Так не бывает, чтобы люди купили дом за миллион двести и там не живут. – В этих комнатах без мебели и ковров ее голос кажется громким и резким.

Маленькая белая с розовым сумочка на длинной золотой цепочке – через плечо.

Пять футов шесть дюймов – рост. Сто восемнадцать фунтов – вес. Сложно сказать, сколько ей может быть лет. Она такая худая, что она либо при смерти, либо очень богата. Ее костюм пошит из какой-то узловатой отделочной ткани и украшен белой плетеной тесьмой. Он розовый, но не креветочно-розовый, а розовый, как креветочный паштет, сервированный на хрустящих хлебцах с веточкой петрушки и капелькой черной икры. Короткий пиджак обле-гает хрупкую талию, а широкие набивные плечи кажутся почти квадратными. Юбка короткая и обтягивающая. Огромные золотые пуговицы.

Она носит кукольную одежду.

– Нет, – говорит она в трубку. – Мистер Стрейтор тут, рядом. – Она поднимает тонкие брови, подведенные карандашом, и смотрит на меня. – Я трачу зря время? – говорит она в трубку. – Надеюсь, что нет.

Улыбаясь, она говорит в трубку:

– Хорошо. Вот он мне показывает, что нет.

Мне интересно, почему она сказала, что я *средних лет*.

Сказать по правде, говоря я ей, я не собираюсь покупать недвижимость.

Она показывает на меня двумя пальцами с яркими розовыми ногтями и произносит одним губами: *еще минуточку*.

На самом деле, говорю я, я нашел ее имя в протоколах, в конторе у окружного коронера. На самом деле я просмотрел все судебно-медицинские протоколы за последние двадцать пять лет на предмет смертей в колыбельке.

Слушая, что говорят ей по телефону, не глядя на меня вообще, она кладет свободную руку на отворот моего пиджака и легонько отталкивает меня, но при этом не убирает руки. В трубку она говорит:

– Ну и в чем проблема? Почему они там не живут?

Я смотрю на ее руку вблизи. Судя по этой руке, ей хорошо за тридцать. Может быть, даже чуть-чуть за сорок. И все-таки эта таксидермическая холеность, которая сходит за красоту после определенного возраста и при определенных доходах, для нее несколько старовата. Ее кожа уже смотрится тщательно отшелушенной, протонизированной, увлажненной и вообще какой-то искусственной. Как будто заново отполировали старую потускневшую мебель. Свежая полировка. Новая розовая обивка. Отреставрировано. Обновлено.

Она кричит в трубку мобильника:

– Ты что, так шутишь?! Да, я знаю, что значит под снос! Но это же историческая постройка!

Она поднимает плечи, прижимая их плотно к шее, и медленно опускает. Потом на миг отнимает телефон от уха, закрывает глаза и вздыхает.

Она слушает, что ей говорят, и ее ноги в розовых туфлях и белых чулках отражаются в перевернутом виде в темном зеркале отполированного паркета. В глубине отражения видна тень у нее под юбкой.

Она прижимает свободную руку ко лбу и говорит:

– Мона. – Она говорит: – Мы не можем позволить себе потерять этот дом. Если они его перестроят, его можно списывать вообще.

Потом она опять замолкает и слушает.

А мне интересно, почему нельзя носить синий галстук с коричневым пиджаком?

Я опускаю глаза и ловлю ее взгляд. Я говорю: миссис Бойль? Мне нужно было с ней встретиться в частном порядке, не у нее в конторе. Это касается серии моих статей.

Но она машет рукой. Сейчас она занята. Она подходит к камину, проводит свободной рукой по каминной полке и шепчет:

– Когда они будут его сносить, соседи будут стоять на улице и рыдать от счастья.

Из этой комнаты есть проход в еще одну белую комнату с темным паркетом и белым потолком с замысловатой лепниной. С другой стороны – тоже дверь. За ней – комната с пустыми белыми книжными полками во всю стену.

– Может быть, мы *устроим* какой-нибудь марш протеста, – говорит она в трубку. – Разошлем письма в газеты.

И я говорю, что я из газеты.

Запах ее духов – смесь запаха кожи в салоне автомобиля, увядших роз и кедровой древесины.

И Элен Гувер Бойль говорит:

– Мона, минуточку подожди.

Она подходит ко мне и говорит:

– Что вы сказали, мистер Стрейтор? – Она быстро моргает ресницами. Раз, второй. Она ждет. У нее голубые глаза.

Я репортер из газеты.

– Эксетер-Хауз – очень красивый дом. *Исторический* дом, который хотят снести, – говорит она, прикрывая рукой телефон. – Семь спален, шесть тысяч квадратных футов. Весь первый этаж отделан панелями из вишневого дерева.

В пустой комнате так тихо, что слышен голос в телефоне:

– Элен?

Она закрывает глаза и говорит:

– Его построили в 1935-м. – Она запрокидывает голову. – Автономное паровое отопление, участок 2,8 акра, черепичная крыша...

Голос в телефоне:

– Элен?

– ...игровая комната, – говорит она, – буфетная с баром, домашний тренажерный зал...

Проблема в том, что у меня не так много времени. Все, что мне нужно знать, говорю, это – были ли у вас дети?

– ...кладовая при кухне, – говорит она, – малая холодильная камера...

Я говорю: был у вас маленький сын, который умер по непонятной причине лет двадцать назад?

Она быстро моргает ресницами. Раз, второй. Она говорит:

– Прошу прощения?

Мне нужно знать, читала она своему сыну вслух или нет. Его звали Патрик. Мне нужно найти и собрать все существующие экземпляры определенной книги.

Прижимая телефон к уху подбитым плечом пиджака, Элен Бойль открывает свою белую с розовым сумочку и достает пару белых перчаток. Надевая перчатки, она говорит в трубку:

– Мона?

Мне нужно знать, может быть, у нее до сих пор сохранилась та книжка. Мне очень жаль, но я не могу ей сказать зачем.

Она говорит:

– Боюсь, мистер Стрейтор не сможет быть нам полезным.

Мне нужно знать, делали ее сыну вскрытие или нет.

Она улыбается мне. И произносит одними губами: *уходите*.

Я поднимаю руки, ладонями к ней, и пячусь к двери.

Просто мне нужно быть твердо уверенным, что все экземпляры той книги будут уничтожены.

И она говорит:

– Мона, пожалуйста, позвони в полицию.

Глава шестая

Когда случается смерть в колыбельке, нужно как-то донести до сознания родителей, что они ни в чем не виноваты. Дети не задыхаются в одеяльце. В 1945 году в журнале «Педиатр» была статья под названием «Механическое удушение в младенчестве», и автор доказывал, что это физически невозможно – чтобы грудной младенец задохнулся в постели. Даже новорожденные, если их положить личиком вниз на подушку или матрас, все равно рефлекторно перевернутся так, чтобы можно было свободно дышать. Даже если ребенок немного простужен или гриппует, нет никаких доказательств, что болезнь как-то связана с внезапной смертью. Нет никаких доказательств, что прививки от дифтерита, коклюша или столбняка как-то связаны с СВСМ. Даже если ребенок только что был у врача, он все равно может умереть.

Кошки не садятся детям на грудь и не высасывают их жизнь.

Все, что мы знаем, – что мы ничего не знаем.

Нэш, полицейский врач, показывает мне лиловые синяки на телах всех детей, livor mortis, где окисленный гемоглобин оседает в самых нижних частях тела. Кровавая пена, что идет изо рта и из носа – медики называют ее «очищающими водами», – это естественный компонент разложения. Те, кто отчаянно ищет ответ, смотрят на livor mortis, на очищающие воды и даже на сыпь от пеленочного дерматита и обвиняют родителей в жестоком обращении с ребенком.

Хороший способ забыть о целом – пристально рассмотреть детали.

Хороший способ отгородиться от боли – сосредоточиться на мелочах. На фактах. Что меня больше всего привлекает в профессии репортера – возможность спрятаться за своим блокнотом. Превратить любую беду в работу.

Книгу вернули в библиотеку. Она стоит в секции детской литературы и ждет. «*Стихи и потешки со всего света*». На странице 27 напечатано стихотворение. Африканский народный фольклор, как сказано в книжке. Всего восемь строчек, и мне не надо его переписывать. Я уже переписал его. Когда выезжал к своему первому мертвому малышу. В жилом трейлере в пригороде. Я вырываю страницу и ставлю книгу обратно на полку.

Когда я возвращаюсь в редакцию, Дункан спрашивает:

– Как там твои сенсационные материалы о мертвых детях? – Он говорит: – Я хочу, чтобы ты позвонил по этому телефону и попробовал выяснить, что к чему. – Он протягивает мне гранки сегодняшнего раздела «Стиль жизни».

Объявление обведено красным карандашом.

Объявление шириной в три колонки и высотой в шесть дюймов.

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ ФИТНЕС-КЛУБА

«ЗЕЛЕННЫЕ ХОЛМЫ»

В объявлении сказано: «Вы заразились грибковой инфекцией при контакте с фитнес-тренерами или при посещении душа? Если так, то звоните по указанному телефону и объединяйтесь с другими такими же пострадавшими, чтобы подать коллективный иск в суд».

Я набираю указанный номер, и мне отвечает мужской голос:

– «Умник, Ушлый и Умора», юридические услуги.

Мужчина на том конце линии говорит:

– Назовите, пожалуйста, свое имя и адрес для учетной регистрации. – Он говорит: – Можете описать вашу сыпь? Размер очагов. Расположение. Цвет. Глубина повреждения тканей. Все до мельчайших подробностей.

Вы ошибаетесь, говорю я ему. У меня нету сыпи. Я звоню вовсе не для того, чтобы подать коллективный иск в суд.

Совершенно без всякой связи мне вспоминается Элен Гувер Бойль.

Когда я говорю, что я репортер из газеты, мужчина на том конце линии говорит:

– Прошу прощения, но нам нельзя обсуждать это дело, пока иск не будет оформлен и передан в суд.

Я звоню в фитнес-клуб, но там тоже не расположены разговаривать. Я звоню в ресторан «Темный бор» из предыдущего объявления, но и там не хотят разговаривать. Номер телефона и в этом, и в том объявлении – тот же самый. Начинается с длинного мобильного кода. Я опять набираю его, и мужской голос на том конце линии говорит:

– «Умник, Ушлый и Умора», юридические услуги.

И я вешаю трубку.

На факультете журналистики нас учили, что начинать нужно с самого главного факта. Это называется опрокинутая пирамида. Кто, что, где, когда и почему должны быть в начале статьи. Дальше идут менее значимые факты, которые следует располагать в порядке убывания значимости. Таким образом, редактор сможет легко сократить статью до нужного размера, не упустив ничего важного.

Все незначительные детали, запах покрывал на кровати, остатки еды на тарелках, цвет елочной игрушки – обычно все это остается в корзине для мусора у редакторского стола.

Единственная система, которую можно проследить в смертях в колыбельке, – их количество возрастает осенью, когда наступают заморозки. Редактор хочет, чтобы это наблюдение появилось уже в первой статье. Нужно что-то такое, что пробудило бы в людях страх. Пять малышей, пять статей. Раз в неделю, в воскресном номере. Так, чтобы люди читали всю серию. Пять воскресений подряд. Мы можем пообещать, что рассмотрим причины синдрома внезапной смерти младенцев и попробуем проследить систему. Мы можем поддерживать в людях надежду.

Есть люди, которые все еще верят, что знание – сила.

Тем, кто дает у нас объявления в воскресном номере, мы гарантируем, что объявления будут замечены читательской массой. На улице уже холодает.

Я прошу своего редактора сделать мне одно маленькое одолжение.

Мне кажется, я нашел систему. Похоже, что всем этим детям родители на ночь читали вслух одно стихотворение. А наутро детей нашли мертвыми.

– Всем пятерым читали? – говорит он.

Я говорю, что хочу провести один маленький эксперимент.

Время уже позднее, и мы оба устали после долгого трудового дня. Мы сидим у него в кабинете, и я прошу его меня выслушать.

Это старая песенка про зверей, которые ложатся спать. Песенка грустная и сентиментальная, и лицо у меня горит от окисленного гемоглобина, когда я читаю стихотворение вслух под яркой лампой дневного света, сидя напротив редактора – его галстук распушен, воротничок растянут. Он сидит с закрытыми глазами, откинувшись на спинку стула. Его рот слегка приоткрыт, его зубы и чашка с кофе – в одинаковых коричневых кофейных разводах.

Что хорошо: мы одни, и мой рассказ занимает не больше минуты.

В конце он открывает глаза и говорит:

– Ну и какого хрена все это значит?

Дункан. У него зеленые глаза.

Холодные капли его слюны приземляются мне на руку. Крошечные переносчики микробов. Влажные дробинки – переносчики вирусов. Коричневая кофейная слюна.

Я говорю: я не знаю. В книжке ее называют «баюльной песней». В некоторые древних культурах ее пели детям во время голода или засухи. Или когда племя так разрасталось, что уже не могло прокормиться на своей земле. Ее пели воинам, изувеченным в битве, и смертельно больным – всем, кому лучше было бы умереть. Чтобы унять их боль и избавить от мук. Это колыбельная.

На факультете журналистики нас учили, что репортеру не надо оценивать факты. Не надо утаивать информацию. Его работа – *собирать* факты и информацию. То, что есть, – ни больше ни меньше. Его работа – оставаться бесстрастным наблюдателем. Теперь я знаю, что когда-нибудь ты, не задумываясь, позвонишь тем родителям в канун Рождества.

Дункан смотрит на часы, потом – на меня и говорит:

– А что там за эксперимент?

Завтра я буду знать, есть ли здесь какая-то связь. Причина и следствие. Это моя работа – писать репортажи. Я пропускаю страницу 27 сквозь бумагорезательную машину.

Палки и камни могут и покалечить, а слова по лбу не бьют.

Я не хочу ничего говорить, пока не буду знать наверняка. Это пока еще гипотетическая ситуация, и я не хочу, чтобы он надо мной смеялся, мой редактор. Я говорю:

– Нам обоим надо как следует выспаться, Дункан. – Я говорю: – А утром тогда поговорим.

Глава седьмая

Когда я допиваю первую чашку кофе, Хендерсон выходит из редакции внутренних известий. Кто-то хватается за пальто и устремляется к лифту. Кто-то берет журнал и идет в сортир. Кто-то сидит, уткнувшись в компьютер, или делает вид, что разговаривает по телефону, Хендерсон стоит в центре общего зала с распушенным галстуком и расстегнутым воротничком и орет:

– Где, черт возьми, Дункан?

Он орет:

– Гранки уже в типографии, а где остальной материал на переднюю полосу?!

Народ пожимает плечами. Я беру телефонную трубку.

Подробности о Хендерсоне: у него светлые волосы, и он их зачесывает набок. Он ушел с юридического факультета, так и не доучившись. Он – главный редактор отдела внутренних известий. Он всегда в курсе прогнозов погоды, и петелька у него на пальто вечно торчит наружу. Пароль у него на компьютере – «пароль».

Он подходит к моему столу и говорит:

– Стрейтор, у тебя нет других галстуков, кроме этого кошмарного синего?

Держа трубку у уха, я произношу одними губами: *интервью*. Я спрашиваю у гудка в телефоне: первая буква «б», как в «боксе»?

Разумеется, я никому не сказал и не скажу о том, что прочел Дункану стихотворение. Я не могу позвонить в полицию и изложить им свою теорию. Я не могу объяснить Элен Гувер Бойль, почему я расспрашиваю ее о ее мертвом сыне.

Воротничок так жмет горло, что мне приходится делать усилие, чтобы проглотить кофе.

Даже если мне кто-то поверит, первое, что он спросит: *А что за стих?*

Покажи мне. Докажи.

Вопрос не стоит: *Узнают ли люди про стихотворение?*

Вопрос стоит так: *Сколько еще пройдет времени, прежде чем вымрет весь род людской?*

Вот – власть над жизнью и холодная, чистая, легкая и бескровная месть, доступная каждому. Каждому. Мгновенная, бескровная, голливудская смерть.

Даже если я буду молчать, сколько еще пройдет времени, прежде чем «*Стихи и потешки со всего света*» включат в школьную программу? Сколько еще пройдет времени, прежде чем стихотворение со страницы 27 прочитают вслух сорока детишкам перед тихим часом?

Сколько еще пройдет времени, прежде чем его прочитают по радио тысячам человек? Прежде чем слова положат на музыку? Переведут на другие языки?

Черт, его даже не нужно переводить. Грудные дети не знают речи.

Никто не видел Дункана уже трое суток. Миллер думает, что Дункану звонил Клейн. Клейн думает, что звонил Филлмор. Все уверены, что кто-то другой непременно звонил Дункану, но никто с Дунканом не разговаривал. Он не отвечает на электронную почту. Кейратерс говорит, что Дункан даже не позвонил, чтобы предупредить, что он заболел.

Чуть погодя, после второй чашки кофе, Хендерсон снова подходит ко мне с гранками раздела «Досуг и отдых». Лист сложен так, чтобы объявление сразу бросалось в глаза. Объявление шириной в три колонки и высотой в шесть дюймов.

Хендерсон смотрит, как я завожу часы и подношу их к уху, и говорит:

– Видел, в утреннем выпуске?

В объявлении сказано:

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ ПЕРВОГО КЛАССА АВИАКОМПАНИИ «РИДЖЕНТ-ПАСИФИК ЭРЛАЙНС»

В самом объявлении сказано: «У вас началось облысение и/или у вас появились вши после контакта с обивкой кресел в салоне, пледами или подушками? Если так, то звоните по указанному телефону и объединяйтесь с другими такими же пострадавшими, чтобы подать коллективный иск в суд».

Хендерсон говорит:

– Ты ведь уже звонил, да?

А я говорю, что пусть он сам позвонит и не морочит мне голову.

А Хендерсон говорит:

– Ну, ты же у нас мистер Специальный Репортаж. – Он говорит: – У нас тут не тюрьма.

И я не твоя жена, на меня орать.

Я сражен.

Ты становишься репортером не потому, что умеешь хранить секреты.

Репортер, журналист – это тот, кто рассказывает. Кто приносит плохие новости. Распространяет инфекцию. Самая сенсационная новость всех времен и народов. Это может стать концом СМИ.

Баюльная песня станет чумой нашего века – века информационных технологий. Представьте мир, где люди не смотрят телевизор, не слушают радио, не ходят в кино, не лазят по Интернету, не читают газет и журналов. Они затыкают уши специальными затычками – как сейчас они надевают презервативы и резиновые перчатки. Раньше никто не боялся секса со случайными незнакомцами. А еще раньше – укуса блохи. Пить сырую воду. Комаров. Асбеста.

Представьте себе чуму, которая передается на слух.

Палки и камни могут покалечить, но теперь и слова тоже могут убить.

Новая смерть, эта чума, может прийти откуда угодно. Из песни. Из случайно услышанного объявления. Из колонки новостей. Из проповеди. От уличного музыканта. Можно подхватить смерть от ведущего в телемагазине. От учителя. От интернетского файла. От поздравительной открытки ко дню рождения. От печенья с предсказанием судьбы.

Миллион человек посмотрят какое-нибудь телешоу, а наутро они все умрут, потому что посреди программы была реклама.

Представьте, какая поднимется паника.

Представьте новые Средние века. Мракобесие. Первая чума пришла в Европу из Китая по торговым путям. В век массовой информации у нас есть тысячи новых путей распространения заразы.

Представьте костры из горящих книг. В тех же кострах горят видеопленки и аудиокассеты, телевизоры и радиоприемники. Библиотеки и книжные магазины полыхают в ночи. Люди идут на приступ станций радиотелевизионной связи. Люди с топорами кромсают оптоволоконный кабель.

Представьте, как люди хором распевают молитвы и гимны, чтобы заглушить всякий звук, который может нести в себе смерть. Они зажимают руками уши, они избегают речей и песен, в которых может быть зашифрована смерть – как в бутылочке с аспирином, отравленным психопатом-маньяком. Всякое новое слово. Все незнакомое и непонятное – все находится под подозрением, все таит в себе опасность. Всего этого следует избегать. Гарантия против коммуникаций.

И если это действительно заклинание на смерть, магическая формула, значит, есть и другие такие же. Если я знаю про песенку на странице 27, значит, узнает и кто-то еще. Тем более что я далеко не самый сообразительный в этом мире.

Сколько еще пройдет времени, прежде чем кто-то внимательно разберет эту баюльную песню и составит еще одну вариацию, и еще одну, и еще? И каждая следующая будет сильнее предыдущей. Пока Оппенгеймер не изобрел атомную бомбу, никто и не думал, что такое возможно. Теперь мы имеем атомную бомбу, и водородную бомбу, и нейтронную бомбу, и ученые по-прежнему трудятся над созданием новых видов оружия. Нас принуждают к новому кошмару.

Если Дункан мертв, эта была необходимая жертва. Он был моим атмосферным ядерным испытанием. Моим Тринити. Моей Хиросимой.

И все же: Палмер из копировального отдела уверен, что Дункан у верстальщиков.

Дженкинс из цеха верстальщиков говорит, что Дункан, должно быть, в редакции искусства.

Хавли из редакции искусства говорит, что он в библиотеке.

Шотт из библиотеки говорит, что Дункан в копировальном отделе.

Это то, что сходит здесь за реальность.

Специальные службы в аэропортах заботятся о безопасности пассажиров. Представьте, что будет, когда в мир просочится баюльная песня: в библиотеках и школах, в театрах и книжных магазинах. Везде, где распространяется информация, будет дежурить вооруженный спецназ.

Радио– и телеэфир станет глухим и пустым, как публичный бассейн при эпидемии полиомиелита. Транслировать будут только редкие правительственные обращения. Только выпуски тщательно перепроверенных новостей и музыку. Всякую музыку, книгу или кино будут сначала испытывать на животных или на добровольцах, прежде чем выпускать их в широкие массы.

Вместо защитных хирургических масок люди будут носить наушники, которые будут давать им постоянную и ненавязчивую защиту в виде безопасной музыки или птичьего пения. Люди будут платить за «чистые» новости, за «безопасную» информацию и развлечения. Представьте, что книги, и музыка, и кинофильмы – все будет тщательно фильтроваться и гомогенизироваться, наподобие того, как сейчас проверяют и подвергают соответствующей обработке молоко, мясо и кровь. Товар сертифицирован и одобрен. Пригоден к употреблению.

Люди с радостью откажутся от большей части своей культуры, лишь бы быть на сто процентов уверенными, что те кусочки, которые все же до них дойдут, будут чистыми и безопасными.

Белый шум.

Представьте мир глухой тишины, где любой звук определенной громкости и продолжительности, способной вместить убийственное стихотворение, будет объявлен вне закона. Никаких больше мопедов и мотоциклов, никаких газонокосилок и реактивных самолетов, никаких электрических миксеров и фенов. Мир, где люди боятся слушать, боятся услышать что-нибудь *такое* за шумом уличного движения. Ядовитые слова под прикрытием громкой музыки, играющей у соседей. Представьте все нарастающее сопротивление языку. Никто ни с кем не разговаривает, потому что никто не решается слушать.

Блаженны глухие, ибо они унаследуют землю.

И неграмотные. И отшельники. Представьте себе мир – мир затворников.

Еще одна чашка кофе, и мне пришлось срочно нестись в туалет отлить. Хендерсон из внутренних известий ловит меня в сортире, когда я мою руки, и что-то мне говорит.

Это может быть все, что угодно.

Я сушу руки под электрической сушилкой и кричу ему, что ничего не слышу.

– Дункан! – кричит Хендерсон. Перекрывая шум воды и гудение сушилки, он кричит: – У нас два мертвых тела в гостиничном номере, и не понятно, надо давать это в новости или нет. Нам нужен Дункан, чтобы он разобрался!

Наверное, именно это он и сказал. Здесь слишком шумно.

Глядя в зеркало, я поправляю галстук и провожу пятерней по волосам. Отражение Хендерсона маячит рядом. Я могу на одном дыхании прочесть вслух баюльную песню, и уже к вечеру он навсегда исчезнет из моей жизни. Он и Дункан. Мертвы. Проще простого.

Но вместо этого я задаю вопрос: можно ли носить синий галстук с коричневым пиджаком.

Глава восьмая

Когда полицейский врач приехал на место, он первым делом позвонил своему брокеру фондовой биржи. Этот полицейский врач, мой друг Джон Нэш, быстренько оценил ситуацию в номере 17F в отеле «Прессмен» и распорядился продать все свои акции «Стюарт-Вестерн Технологиз».

– Да, меня могли попереть с работы, – говорит Нэш, – но за те три минуты, пока я звонил, два мертвеца на кровати вряд ли бы ожили, и вряд ли им стало бы хуже.

Потом он звонит мне и спрашивает, не хочу ли я дать ему пятьдесят баксов за интересную дополнительную информацию сверх официальной. Он говорит, что если у меня есть акции «Стюарт-Вестерн», надо срочно от них избавляться, а потом он ждет меня в баре на Третьей, что рядом с больницей.

– Господи, – говорит Нэш по телефону, – эта женщина – просто красавица. То есть была красавицей. Я не знаю, был ли там Тарнер. Тарнер – это мой партнер. – Он вешает трубку.

Согласно последним сводкам по котировке ценных бумаг, акции «Стюарт-Вестерн» уже можно спускать в унитаз. Должно быть, новость про Бейкера Льюиса Стюарта, основателя компании, и про его молодую жену Пенни Прайс Стюарт уже просочилась.

Вчера вечером, в семь часов, Стюарты поужинали в «Чешской кухне». Все это очень легко разузнать, подмазав консьержку в отеле. По словам официанта, обслуживавшего их столик, они заказали рисотто с семгой и грибы «Портебелло». Из чека не ясно, кто брал грибы, а кто – рис. Они выпили на двоих бутылку черного «Пино». Кто-то взял на десерт творожный торт. Оба выпили кофе.

В девять вечера они поехали на вечеринку в галерее Чемберс, где, по свидетельству очевидцев, переговорили со многими из присутствующих, в том числе – с хозяином галереи и с архитектором, который занимается перестройкой их нового дома. Каждый выпил еще по стакану вина.

В десять тридцать они вернулись в «Прессмен-отель», где проводили медовый месяц. В номере 17F.

Администратор отеля говорит, что они сделали несколько телефонных звонков между половиной одиннадцатого и полуночью. В двенадцать пятнадцать они позвонили дежурному по этажу и попросили разбудить их в восемь утра. Дежурный по этажу говорит, что они заказали в номер кассету с порно.

На следующее утро, в девять часов, горничная обнаружила их обоих мертвыми.

– Эмболия, я бы сказал, – говорит Нэш. – Лижешь девочке одно место, вдуваешь ей туда воздух или пялишь ее слишком рьяно... в общем, и так, и этак, может так получиться, что ты запузыриваешь ей в кровь воздух и пузырьки постепенно доходят до сердца.

Нэш огромный и грузный. Здоровенный детина в теплом тяжелом пальто поверх белого халата. Он в своих неизменных белых ботинках, и когда я вхожу в бар, он уже ждет меня у стойки. Положив оба локтя на стойку, он ест сэндвич из булки с говядиной, густо политый горчицей и майонезом. Он пьет кофе без сахара и молока. Его грязные, сальные волосы собраны в хвост, который торчит на макушке, как чахлая пальмочка.

Я говорю: и чего?

Я спрашиваю, был ли их номер ограблен.

Нэш просто жует свой сэндвич, сосредоточенно двигая челюстями. Он держит булку обеими руками, но смотрит мимо – на тарелку с крошками, веточками укропа и остатками картофельных чипсов.

Я спрашиваю, было ли в номере что-нибудь необычное.

Он говорит:

– Как я понимаю, раз они были молодожены, он затрахал ее до смерти, а потом у него приключился сердечный приступ. Ставлю пять баксов, что на вскрытии у нее в сердце обнаружится воздух.

Я спрашиваю, проверил ли он хотя бы по памяти в телефоне, кто им звонил последним.

И Нэш говорит:

– Невозможно было проверить. Не по телефону в отеле.

Я говорю, что за свои пятьдесят баксов я хочу получить что-нибудь посущественнее его слюнотечений над мертвым телом.

– Ты бы и сам изошел слюной, – говорит он. – Блин, она была просто красавица.

Я спрашиваю, все ли было на месте: ценные вещи, часы, кошельки, драгоценности.

Он говорит:

– И все еще теплая, под одеялом. Вполне даже теплая. Никакой предсмертной агонии. Ничего.

Его массивная челюсть медленно движется – он продолжает жевать, глядя в пространство перед собой.

– Если у тебя есть возможность поймать женщину, которую ты хочешь, – говорит он, – и поймать ее всеми способами, как ты хочешь, неужели ты ей не воспользуешься, этой самой возможностью?

Я говорю, что это будет изнасилование.

– Нет, – говорит он, – если женщина мертвая. – Он с хрустом раскусывает картофельную чипсу. – Если бы я был один... если бы я был один и у меня был бы гондон... – говорит он с полным ртом. – Главное, чтобы потом не обнаружили мою сперму.

Потом он говорит про убийство.

– Не похоже, чтобы ее убили, – говорит он и смотрит на меня. – Или убили *его*. У мужа очень даже аппетитная задница, если тебя заводят такие вещи. Но – вообще никаких следов. Никаких *livor mortis*. Никаких натяжений кожи. Ничего.

Как он может спокойно есть и говорить о таких вещах – у меня в голове не укладывается.

Он говорит:

– Они оба голые. Большое влажное пятно на матрасе, как раз между ними. Да, они именно этим и занимались. А потом умерли. – Нэш жует свой сэндвич и говорит: – На самом деле она была лучше всех, с кем я трахался в этой жизни... даже мертвая.

Если бы Нэш знал баюльную песню, в мире бы не осталось ни одной живой женщины. Живой или девственницы.

Если Дункан мертв, я надеюсь, что Нэш не поедет на вызов. Может, теперь он всегда будет иметь при себе презерватив. Может, их продают в автомате в сортире у них в участке.

Я говорю: раз уж ты все так внимательно осмотрел, может быть, ты заметил какие-нибудь синяки, укусы, следы от иголок, хоть что-нибудь?

И он говорит:

– Ничего даже похожего.

Предсмертная записка? Может быть, это самоубийство?

– Нет, – говорит он. – Никакой записки. И никаких следов насилия. Как у нас говорят, смерть безо всяких видимых причин.

Нэш переворачивает сэндвич в руках и слизывает горчицу и майонез, которые вытекают с другого конца. Он говорит:

– Помнишь Джеффри Дамера. – Нэш слизывает горчицу и майонез и говорит: – Он же не намеревался никого убивать. Он просто думал, что если просверлить дырку в черепе человека и залить туда жидкость для прочистки труб, то он станет твоим секс-зомби. Дамеру просто хотелось, чтобы рядом с ним кто-то был. Кто подчинялся бы ему безраздельно и никогда бы его не покинул.

Итак, что я получу интересного за свои пятьдесят баксов?

– У меня есть только имя, – говорит он.

Я даю ему две двадцатки и десятку.

Зубами он вытаскивает из булки кусок говядины. Кусок мяса свисает ему на подбородок, а потом он запрокидывает голову и втягивает его в рот. Он говорит с полным ртом, не прекращая жевать:

– Ну да, я свинья, я знаю. – Его дыхание пахнет горчицей. Он говорит: – У них у обоих на сотовых телефонах, в истории звонков, последним стоял номер некоей Элен Гувер Бойль.

Он говорит:

– Ты скинул акции, как я тебе говорил?

Глава девятая

Это тот же самый зеркальный комод «Уильям и Мари». Согласно надписи на картонной карточке: черная лакированная сосна с инкрустацией в виде персидских сцен, выполненной серебряной позолотой, круглые конусообразные ножки и фронтоны, отделанные резьбой в виде ракушек и завитков. Наверняка тот же самый. Мы повернули направо, прошли по узкому коридору, плотно заставленному разнообразными креслами, потом опять повернули направо рядом с буфетом эпохи Регентства, потом – налево у кровати эпохи Гражданской войны, но опять вышли к тому же комоду.

Элен Гувер Бойль проводит рукой по серебряной позолоте, по тусклым придворным персидского шаха и говорит:

– Не понимаю, о чем вы.

Она убила Бейкера и Пенни Стюартов. Она им звонила на сотовые телефоны за день до того, как они оба умерли. Она прочитала обоим баюльную песню.

– Вы утверждаете, что я убила этих людей, *спев им песенку?* – говорит она. Сегодня она во всем желтом, но волосы у нее по-прежнему розовые. У нее желтые туфли, но на шее по-прежнему – золотые цепочки и яркие бусы. Она, по-моему, переборщила с пудрой. Щеки кажутся слишком румяными.

Я очень быстро выяснил, что это именно Стюарты приобрели дом на Эксетер-драйв. Красивый *исторический* дом. Семь спален и панели из вишневого дерева на первом этаже. Дом, который они собирались снести и строить на его месте новый. Планы, которые так разозлили Элен Гувер Бойль.

– О господи, мистер Стрейтор, – говорит она, – вы бы себя послушали!

Мы стоим как раз посреди узкого коридора из громоздящейся мебели, который тянется на несколько ярдов в обе стороны. Дальше, за поворотом, он разветвляется на новые коридоры: кресла впритык друг к другу, притиснутые друг к другу буфеты. За рядами невысоких предметов – кресел, диванов или столов – виднеются ряды бюро и комодов, стены из напольных часов, покрытых глазурью каминных экранов и ширм, секретеров эпохи короля Георга.

Она предложила нам встретиться здесь, где нам никто не помешает, – в огромном, складского типа магазине антиквариата. В этом лабиринте из мебели мы ходим кругами, вновь и вновь натываясь на тот же зеркальный комод «Уильям и Мари» и на тот же буфет эпохи Регентства. Мы ходим кругами. Мы заблудились.

И Элен Гувер Бойль говорит:

– А вы еще кому-нибудь говорили про свою песню-убийцу?

Только моему редактору.

– И что на это сказал редактор?

Я думаю, что он мертв.

И она говорит:

– Вот тебе на. – Она говорит: – Вы, наверное, очень расстроены.

Наверху, на разной высоте, висят хрустальные люстры – мутные и серые, как напудренные парики. Растрепанные провода обвивают тусклые подвесные крюки. Обрезанные провода, пыльные мертвые лампочки. Каждая люстра – еще одна отрубленная аристократическая голова, подвешенная «вверх ногами» к потолочной балке. Потолок выгибается сводом, шпренгельные балки поддерживают рифленую сталь.

– Идите за мной, – говорит Элен Бойль. – Тут легко потеряться. Я забыла, с какой стороны растет мох на креслах: с северной или южной?

Она слюнявит два пальца и поднимает их над головой.

Изящные горки рококо, яacobинские книжные шкафы, комоды в неоготическом стиле, все – резьба и лакировка, французские платяные шкафы обступают нас со всех сторон. Застекленные шкафчики орехового дерева эпохи какого-то из Эдуардов, викторианские трюмо с высокими зеркалами, шифоньеры в стиле ренессанс. Красное дерево и орех, дуб и черное дерево. Круглые ножи, продолговатые ножи, ножи-кабриолет. За поворотом – новый коридор. Шифоньерки времен королевы Анны. Снова клен серебристый. Перламутровая отделка и золоченая бронза.

Наши шаги отдаются эхом по бетонному полу. Дождь барабанит по стальной крыше.

И она говорит:

– У вас нет ощущения, что вы похоронены под грузом истории?

Она достает связку ключей – рукой с ярко-розовыми ногтями, из белой с желтым сумочки. Она сжимает ключи в кулаке, и только самый длинный и острый торчит наружу между пальцами.

– Вы никогда не задумывались, что все, что вы делаете и что можете сделать в жизни, уже через сотню лет станет бессмысленным и никому не нужным? – спрашивает она. – Думаете, лет через сто кто-нибудь вспомнит о Стюартах?

Она переводит взгляд с одной отполированной поверхности на другую. Столы, шкафы, двери – ее отражение проплывает по ним.

– Люди умирают, – говорит она. – Люди сносят дома. Но мебель – красивая, стильная мебель, – она остается. Мебель переживет всех и вся.

Она говорит:

– Предметы мебели – это тараканы нашей культуры.

Не замедляя шагов, она проводит стальным ключом по отполированной стенке орехового буфета. Звук получается очень тихий, как бывает всегда, когда что-то твердое царапает что-то мягкое. Царапина получилась глубокая. Теперь видно, что за пафосной облицовкой скрывается дешевенькая сосна.

Она останавливается перед гардеробом с зеркальными дверцами.

– Подумать только, сколько поколений женщин смотрелись в это зеркало, – говорит она. – Привозили его домой. Старились в этом зеркале. Они все мертвы, все эти юные красивые женщины, а гардероб – вот он, пожалуйста. И стоит гораздо дороже, чем когда он был новым. Паразит, переживший хозяина. Большой отожравшийся хищник, который выискивает следующую добычу.

В этом лабиринте антиквариата, говорит она, живут духи давно уже мертвых людей – всех, кто когда-то владел этой мебелью. Всех, кто мог себе это позволить. Где теперь их таланты, ум и красота? Их пережил этот декоративный мусор. Богатство, успех, положение в обществе – все, что олицетворяла собой эта мебель, – где все это теперь?

Она говорит:

– Если смотреть с точки зрения веков, разве это действительно важно, от чего умерли Стюарты?

Я спрашиваю, как она поняла про баюльные чары. Она поняла, в чем тут дело, когда умер ее сын Патрик?

Но она просто идет вперед, ведя рукой по резным краям, по полированным дверцам и зеркалам. На зеркалах остаются следы.

Я очень быстро выяснил, как умер ее муж. Через год после смерти Патрика его нашли мертвым в постели – без каких-либо видимых повреждений, без предсмертной записки, без очевидной причины.

Элен Бойль говорит:

– А как он умер, этот ваш редактор?

Из своей желтой с белым сумочки она достает отвертку и плоскогубцы, такие чистые и блестящие, что их можно было бы использовать при хирургической операции. Она открывает дверцу большого отполированного шифоньера и говорит:

– Подержите, пожалуйста, чтобы она не болталась.

Я держу дверцу, а она возится с той стороны. Через пару секунд на пол к моим ногам падают защелка и ручка.

Она снимает все ручки и все украшения из золоченой бронзы, она собирает все металлические детали, кроме петель, и сыпает их в сумочку. Теперь, с ободранными дверцами, шкаф кажется изувеченным, кастрированным, истерзанным, слепым.

Я спрашиваю, зачем она это делает.

– Потому что мне нравится этот шкаф, – говорит она. – Но я не хочу стать его очередной жертвой.

Она закрывает дверцы и убирает свои инструменты в сумочку.

– Я вернусь за ним, когда они снизят цену до той, сколько он стоил, когда был новым, – говорит она. – Он очень мне нравится, но я его заберу на своих условиях.

Она проходит еще пару шагов вперед, и коридор упирается в непроходимый лес из вешалок для одежды, полок для шляп и подставок под зонты. Дальше виднеется глухая стена из платяных шкафов.

– Елизаветинская эпоха, – говорит она, прикасаясь к каждому из предметов. – Тюдоры... Истлейк... Густав Стикли...

Она объясняет, что старую мебель, собранную из нескольких разных предметов – скажем, из зеркала и комода, – специалисты называют «женатой». Для антикваров такая мебель ценности не представляет.

Мебель, которая получается, если разобрать один изначальный предмет на несколько и продать их по отдельности – скажем, ящик буфета и верхнюю часть, – называется «разведенной».

– И опять же, – говорит она, – для антикваров такая мебель ценности не представляет.

Я ей рассказываю о своих попытках разыскать все экземпляры книжки стихов. Я говорю о том, как это важно – чтобы никто не узнал про чары. После того что случилось с Дунканом, я клянусь, что сожгу все свои записи и забуду о том, что вообще знал эту баюльную песню.

– А что, если у вас не получится ее забыть? – говорит она. – Что, если она застрянет у вас в голове, как эти дурацкие рекламные песенки? Что, если она всегда будет при вас, как заряженное ружье, в ожидании кого-то, кто вас разозлит?

Я не воспользуюсь ею. Никогда.

– Давайте представим себе ситуацию, – говорит она. – Разумеется, гипотетически. Что, если я тоже клялась себе, что никогда не воспользуюсь этой песней. Я. Женщина, которая, как вы говорите, случайно убила своего ребенка и мужа, – человек, которого терзает это проклятие. И если такой человек, как я, все-таки стал применять эту песню, то почему вы уверены, что не поступите точно так же?

Я говорю, никогда.

– Конечно-конечно, – отвечает она и беззвучно смеется. Она поворачивает направо, быстро проходит мимо спальни в стиле бидермайер, потом – снова направо, мимо столика ар-нуво, и на мгновение я теряю ее из виду.

Я прибавляю шаг, чтобы не отстать и не потеряться, и говорю на ходу: если мы хотим найти выход, то нам, наверно, надо держаться вместе.

Впереди снова маячит зеркальный комод «Уильям и Мари». Черная лакированная сосна с инкрустацией в виде персидских сцен, выполненной серебряной позолотой, круглые конусообразные ножки и фронтоны, отделанный резьбой в виде ракушек и завитков. И, уводя меня

еще глубже в дебри трюмо и комодов, бюро и трельяжей, книжных шкафов, кресел-качалок и вешалок для одежды, Элен Гувер Бойль говорит, что она мне расскажет одну историю.

Глава десятая

В редакции все притихли. Перешептываются, собравшись у кофеварки. Слушают с раскрытыми ртами. Никто не плачет.

Хендерсон ловит меня у вешалки и говорит:

– Ты звонил в «Риджент-Пасифик Эрлайнс» насчет их вшей?

Я говорю, что никто не хочет разговаривать, пока не заполнена учетная форма.

А Хендерсон говорит:

– Как только что-нибудь станет известно, сразу докладывай мне. – Он говорит: – Дункан не просто безответственный человек. Как оказалось, он умер.

Умер ночью, в своей постели, без каких-либо видимых повреждений. Без предсмертной записки, без очевидной причины. Его обнаружил хозяин квартиры и вызвал полицию.

Я говорю: а не было признаков, что тело подвергли содомии?

Хендерсон дергает головой и говорит:

– Чему подвергли?

Не отымали ли его в задницу?

– Господи, нет, – говорит Хендерсон. – А почему ты вдруг спрашиваешь?

Я говорю: просто так.

По крайней мере Дункан не стал мертвой куклой для секса.

Я говорю: если кто-нибудь будет меня искать, я – в библиотеке. Нужно проверить кое-какие факты. Просмотреть газеты за несколько лет. И пару-тройку бобин микрофильмов.

И Хендерсон кричит мне вслед:

– Только ты там недолго. Если Дункан умер, это не значит, что тебя освобождают от серии про мертвых детей.

Палки и камни могут покалечить, и поосторожнее со словами.

Просматривая микрофильмы, я натываюсь на любопытный факт. В 1983 году, в Вене, Австрия, 23-летняя медсестра дала ударную дозу морфия старой женщине, которая очень мучилась и просила, чтобы ей помогли умереть.

Семидесятилетняя пациентка умерла, а медсестра, Вальтруда Вагнер, поняла, что ей нравится власть над жизнью и смертью.

Вот оно, здесь – на бобинах с микрофильмами. Голые факты.

Сначала это была просто помощь умирающим пациентам. Она работала в госпитале для престарелых и неизлечимо больных. Если человек попадал в этот госпиталь, он уже оставался там. В ожидании смерти. *Желанной* смерти. Помимо морфия, Вальтруда Вагнер изобрела еще одно средство, которое она называла «водолечением». Чтобы облегчить человеку страдания, надо просто зажать ему нос. Потом прижать поплотнее язык и влить ему в горло воду. Смерть была медленной и мучительной, но стариков всегда находили мертвыми с водой, собравшейся в легких.

Молодая женщина называла себя ангелом.

Все смотрелось очень естественно.

Вагнер считала, что делает доброе дело – благородное и героическое.

Она избавляла людей от страданий и боли. Она была очень внимательной, чуткой и ласковой, и она забирала лишь тех, кто сам просил смерти. Она была ангелом смерти.

А в 1987-м их было уже четыре. Четыре ангела, четыре медсестры. Они все работали в ночную смену. К тому времени госпиталь окрестили «Павильоном смерти».

Они уже не облегчали страдания, эти четыре женщины. Теперь они «назначали» водолечение пациентам, которые громко храпели, или мочились в постель, или отказывались принимать лекарства, или мешали медсестрам отдыхать по ночам – приходили на пост и ныли.

Малейший повод к раздражению – и на следующее утро пациента находили мертвым. Каждый раз, когда пациент жаловался на что-то, Вальтруда Вагнер говорила:

– Этот уже прикупил билет к Господу Богу – буль-буль-буль.

– Те, кто меня нервировал, – говорила она на допросе, – отправлялись напрямиком на свободную койку на небесах.

В 1998-м одна старушка обозвала Вагнер неряхой и потаскушкой, и ей «прописали» водолечение. Потом ангелы пили в таверне, смеялись и изображали, как старушка билась в конвульсиях. Врач, сидевший в той же таверне, случайно подслушал их разговор.

В ходе следствия выяснилось, что от «водолечения» умерли почти триста человек. Вагнер приговорили к пожизненному заключению. Остальные ангелы отделались меньшими сроками.

– Мы решали судьбу этих старых пердунов: жить им или умирать, – сказала Вагнер на суде. – Все равно их билеты к Господу были давно просрочены.

История, которую рассказала мне Элен Гувер Бойль, – это чистая правда.

Власть развращает. А абсолютная власть развращает абсолютно.

Так что расслабься, сказала Элен Гувер Бойль, и получай удовольствие.

Она мне сказала:

– Но даже у абсолютного разложения есть свои преимущества.

Она сказала:

– Подумай о тех, кого тебе хочется, чтобы не было в твоей жизни. Подумай о всех концах, которые хочется обрубить. Мечь. Подумай, как это будет просто.

А я все думал про Нэша. Про Нэша и про его мечты, что каждая женщина – *каждая* – будет податливой и согласной на все, по крайней мере два-три часа, пока не начнет остывать и разлагаться.

«Скажи мне, – сказал он тогда, – чем это отличается от отношений большинства пар?»

Каждый без исключения может стать твоим следующим сексуальным зомби.

Но если та австрийская медсестра, и Элен Гувер Бойль, и Джон Нэш не могут держать себя в руках, это еще не значит, что я стану бездумным и импульсивным убийцей.

Хендерсон встает в дверях библиотеки и орет:

– Стрейтор! Ты что, отключил пейджер? Нам только что позвонили насчет еще одного мертвенького ребенка.

Редактор мертв, да здравствует редактор. Старый босс, новый босс – разницы никакой.

И да, я согласен: без некоторых людей мир стал бы значительно лучше. Да, мир может стать совершенным – если немного его подправить. Небольшая уборка в доме. Небольшой неестественный отбор.

Но – нет. Я никогда не воспользуюсь этой баюльной песней.

Больше – никогда.

Но даже если я ею и воспользуюсь, то не для мести.

И не для собственного удобства.

И уж точно – не для удовлетворения сексуальных потребностей.

Нет, если я ею и воспользуюсь, то исключительно на благо людей.

Хендерсон орет:

– Стрейтор! Ты хотя бы звонил насчет вшей в первом классе? Или насчет грибка в фитнес клубе? Надо достать руководство «Темного бора», иначе ты так и будешь топтаться на месте.

Я несусь по коридору в противоположную сторону, а у меня в голове проносится баюльная песня. Я хватаю пальто и выбегаю на улицу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.